

Новелла Матвеева: «Называться романтиком стало почти неприлично»

Дмитрий БЫКОВ

Новелла Матвеева — мой любимый поэт. Или, сказать точнее, мое любимое явление искусства, поскольку ее роман, пьесы, стихи, рисунки и главным образом песни невозможно рассматривать в отрыве друг от друга. И тут срабатывает поразительная закономерность, о которой писал еще Сергей Чупринин в предисловии к матвеевскому «Избранному» двадцатилетней давности: именно стихи и песни Матвеевой становятся универсальным паролем для тех, кто ее любит. Есть, скажем, огромная прослойка любителей Окуджавы — она включает очень многих, от новых русских до убежденных коммунистов. И у Визбора свои фанаты, и тоже очень разные. Даже Щербаков, вечно коримый элитарностью, объединяет чрезвычайно разных людей, которых, кроме знания его песен и частого их цитирования, ничто особенно не связывает. Но вот Матвеева — совершенно особый случай. Люди, любящие ее, мгновенно узнают друг друга. И только потом, радуясь новому доказательству родства, выясняют внезапно, что выросли на ее песнях.

Радиация их необыкновенно сильна. Один мой друг вообще понятия не имел, что такая Матвеева, — просто его мать любила слушать ее песни, и все, что от нее осталось (он ее даже не помнил, так рано она умерла), — несколько фотографий да та старая пластинка. И слушая эту пластинку, и ничего толком не понимая, и даже злясь временами на эти не слишком понятные и вовсе уж не подростковые песни, он незаметно перерос и среду, и школу, и круг сверстников, и стал-таки похож на мать — отец-военный часто говорил ему это с нескрываемой досадой.

Я начал слушать Матвееву лет в пятнадцать, купив ее четвертый диск «Дорога — мой дом» (1983). Потом стал читать все, что у нее публиковалось. Потом не выдержал и пошел знакомиться. Двадцать лет она остается для меня — не литературным учителем, конечно, она вряд ли хочет и может кого-то кому-то учить, но именно эталонном литературного и человеческого поведения; таким же эталоном был и ее муж, Иван Семенович Киуру (1934 — 1991), большой и своеобразный русский поэт, мало оцененный при жизни.

Объяснить, в чем тайна и своеобразие Матвеевой, все равно нельзя — я



думаю, все дело в чистоте, но не той, о которой сама она сказала с великолепным презрением: «Самое страшное в искусстве — любимая триада людей, говорящих с придыханием: «Чистота, доброта и пронзительность!». Речь не об этой пошлости, конечно. Речь о чистоте в смысле последовательности и беспримесности, о хармсовской «чистоте порядка». Матвеева — это идеально последовательное, очень чистое искусство. Искусство в самом чистом и беспримесном варианте, который мне когда-либо встречался. Стоит ей запеть — и волосы шевелятся у меня на голове, и священный озноб бежит по коже. Представить себе невозможно, чтобы такое здесь и сейчас существовало. Но оно существует. И даже отмечается какой-то юбилей — Господи, какой юбилей, если это вообще из другого измерения?! Как будто «Капитаны без усов», «Песняры» или «Поэты» были не всегда!

Но при всей знаменитой хрупкости ее голоса, о котором не писал только ленивый, — какая сила, какая энергия и мужество в каждом ее слове! Каким несгибаемым упрямством надо было обладать, чтобы, прожив такую жизнь, — иногда нищую, часто полную унижений, всегда гордую, —

сохраниться и сделать все, что сделала она! Одной из самых горьких книг, мною читанных, остается «Пастушеский дневник» — записи восемнадцатилетней Матвеевой, сделанные во время работы в подсобном хозяйстве детского дома на станции Чкаловская.

— Вы были пастухом?!

— Не поверил я.

— Пастушкой, — сказала она; у нее есть об этом

**Она — из «странных»,
из вызывающе непохожих,
и отлично знает, чем это чревато
в нашем-то обществе, которое
она же в одном частном разговоре
так зло и точно назвала
«толпозным»**

в «Стихотерапии», где она говорит о своей «пасторальной жизни». Одиноким больным ребенком, никогда не ходивший в школу, воспитанный на Диккенсе, Жан-Поле и Грине, никогда или почти никогда не выезжавший за пределы Подмосквы, — работает на самой черной работе, пишет стихи, иронизирует над собой, делает мгновенные и точные зарисовки звериного окрестного быта! Мыслимо ли такое? Немудрено, что получив ее «Рембрандта», писанного в те самые годы и отправленного в «Комсомольскую правду», журналисты и писатели из Москвы отравились лично убеждаться в том, что это не мистификация. Стихи, которые она отправила тогда в Москву, скоро

входили в хрестоматии, а песни, которые она написала к своим тогдашним двадцати с небольшим годам, запела вся страна — и это было одним из немногих настоящих чудес оттепели.

Стихи Матвеевой дивно контрастируют с ее высоким голосом и мягко-иронической манерой общения. Это яркие, резкие, энергичные, классически-четкие стансы, с безупречно точными определениями, афористичные, мгновенно запоминающиеся. Мало кто умеет так играть со словом, так вольно и прихотливо плавить и гнуть его, как она; дело даже не в безупречном ее благородстве, во врожденном чутье на травлю, в вечном стремлении защищать слабого, которое не изменяет ей и сейчас, когда она — едва ли не единственная в поколении — пишет мощные, яростные стихи в защиту нищих и всеми преданных. Дело в том, что она — из «странных», из вызывающе непохожих, и отлично знает, чем это чревато в нашем-то обществе, которое она же в одном частном разговоре так зло и точно назвала «толпозным». За эту странность — то есть за абсолютную и бескомпромиссную принадлежность к миру искусства — она всю жизнь расплачивается. И ее опыт необыкновенно утешителен для тысяч других таких же странных — их никогда не бывает слишком много, и потому успех Матвеевой никогда

не был универсален, но их достаточно, а главное — они верны своему поэту.

Матвеева — поэт честной бедности, кроткой, но бескомпромиссной фантазии, огромной изб-

разительной силы и абсолютного презрения к любой другой силе. Я редко говорю с ней о главном. Все, что надо, она говорит в стихах. Вот некоторые отрывки разговоров, записанные в разное время, — потому что брать у нее интервью вообще странно. Как будешь брать интервью у того же Жан-Поля, или у Жуковского, или Блока? Что может сказать человек — который почти уже и не человек, а лишь проводник между нами и миром абсолютной музыки, — о том, что он делает?

— Новелла Николаевна, для меня всегда было некоторой загадкой, почему вы бываете регулярно упрекаемы именно за «отрыв от жизни».

«дух времени» бывал удушлив

— Упреки в мой адрес отличались разнообразием: если после первых книг меня дружно ругали за «книжность» и «отрыв от жизни», то после «Реки» — за «литературность» и «от жизни отрыв». Это это такое — каюсь, я не совсем понимаю. У меня было четверостишие о том, что «от жизни оторваны все мы. Только — один от плохой, а другой от хорошей».

Может быть, кому-то не нравилось мое нежелание следовать «духу времени», как они его понимали. Дух этот в самом деле бывал чрезвычайно удушлив. От такой жизни, как наша с Иваном Семеновичем, было бы в самую пору оторваться. Смею думать, однако, что я не сделала двух наиболее ожидаемых и всячески поощряемых вещей: не унеслась от жизни в мечтаниях и не вышла из народа. Выходить из народа тогда считалось — да, кажется, и теперь считается — необычайно почетным. «Шашь из народа — тут еси и ода. Но я как раз пришла предупредить, что я не выходила из народа, да и не собираюсь выходить».

— По-моему, вы писали и пишете довольно много. Бывали периоды молчания?

— Бывали, иногда по несколько месяцев, иногда по году. Иногда я пишу, что называется, без вдохновения, — просто ради «стихотерапии», или чтобы заснуть. Сочинительство в самом деле если не возвышает душу, то по крайней мере успокаивает ее. Иногда пишешь, чтобы не думать, или не вспоминать, или не изводить себя пустыми тревогами. Я вообще считаю грехом меланхолию и уныние, хотя, увы, и подвержена этому греху: в Библии недвусмысленно сказано, что тоска и упадок духа — вещи богопротивные. Стихи помогают не утратить внутренней дисциплины. Песен я почти не пишу довольно давно, хотя изредка они продолжают приходить.

— Вы говорили о том, что — в отличие от большинства поющих поэтов — начинаете обычно с музыки...

— Музыка обычно действительно приходила первой, причем чаще всего неожиданно, вместе с какой-то одной случайно долетевшей строкой из середины или даже из конца будущей песни. Иногда такие мелодии пролеживали по

несколько лет, прежде чем «обрастали словами». Первые песни я начала сочинять лет в двенадцать, убеждая себя, что это «как бы сочинительство» к «как бы роману». Таких авантюрных

«Смею думать, что я не сделала двух наиболее ожидаемых и всячески поощряемых вещей: не унеслась от жизни в мечтаниях и не вышла из народа»

романов было у меня придумано множество. Я сочинила свои мелодии к песням из «Давным-давно» Гладкова, к песням из «Сирано де Бержерака» Ростана, а первая песня на собственные стихи — это, сколько могу припомнить, «Отчаянная Мэри», написанная лет в шестнадцать для брата Алика и его друзей. Они пели какой-то дворовый пиратский фольклор, и мне захотелось написать им нечто более романтическое, хотя и столь же героическое. Эта песня вышла сейчас на пластинке — «Буруны, скалы, мели, девятый вал ревет. Отчаянная Мэри над скалами живет». В героиню был влюблен пират, она отвергла его домогательства, потребовав, чтобы он сначала оставил «раз-

бойное жите». После этого она, как говорила одна наша соседка на Чкаловской, «погиблась». Кажется, это была моя первая песенная удача — потому что Алик и его друзья песню приняли.

Иногда мне помогали — например, музыку «Синего моря» я услышала во сне и не представляла, о чем должна быть эта песня. Я записала ее, как умела, — на длинной бумажной полосе, размеченной, как гриф гитары. Нот я не знаю. Иван Семенович мне подсказал, про что там должно быть. Потом эта песня понравилась Рувиму Фраерману, товарищу моего отца по Дальнему Востоку, и он попросил ее для радиопостановки по «Дикой собаке динго». Елена Камбурова там замечательно ее спела.

— У вас репутация традиционно аполитичного человека, и тем не менее в шестьдесят седьмом вас вытеснили из литературы лет на шесть — из-за чего?

— Я подписала несколько писем, в том числе в защиту Гинзбурга и Галанскова. Никакой особенной отваги для этого не требовалось — в пись-

ме всего лишь просили гласного суда, это и не было защитой в собственном смысле, а только просьбой о соблюдении закона, о норме. Но дело было, я думаю, не только в письмах. Этим воспользовались, как предлогом. Время начало загустевать очень быстро. Я и сама не считала возможным жить так, как будто ничего не происходило, — так же печататься и выступать. Мы тогда купили небольшой участок под Сходней, со старым домом, и уехали из Москвы. Летом я и до сих пор стараюсь жить там. Там множество мест, которым мы дали собственные названия, — котловина Рипа ван Винкля, Коровье плато... Это отдельная страна, и жизнь там была хоть и бедная, но волшебная. Иногда выручали переводы. А в общем, именно тогда я и написала поэму «Греция» — о том, что захватить Грецию можно, можно даже перенять ее мифы и предания, а вот с духом ее ничего не сделаешь, это все продолжает так же подходить захватчику, как корове седло. Именно в это время, в начале семидесятых, появилось очень много всякой комсомольской романтики. Романтику начали присваивать. Открывались кафе «Синяя птица» — и все в таком роде. Нещадно эксплуатировалась романтика дальних странствий. Все это было так фальшиво, что называться романтиком стало почти неприлично.

— Как по-вашему, что изменилось в воздухе времени за последние два или три года?

— Не изменилось главное: частному честному человеку, которого любят еще называть «маленьким», чтобы унизить дополнительно, — легче не стало. О нем не стали больше думать. Он не почувствовал себя защищеннее. Это зависит, я думаю, не от власти, — ведь не власть же, в конце концов, должна заставлять нас давать кров бездомному и хлеб голодному. По привычке мы многое списываем на власть, но чаще всего воздерживаемся даже от того немалого, что ничуть не обременит нас самих. Мы привычно восхищаемся подвижниками и даже завидуем им, не желая палец о палец ударить, чтобы облегчить пусть не жизнь, а один день жизни нищему ребенку или одинокому старику. И пока это будет так — ждать перемен бессмысленно. ■

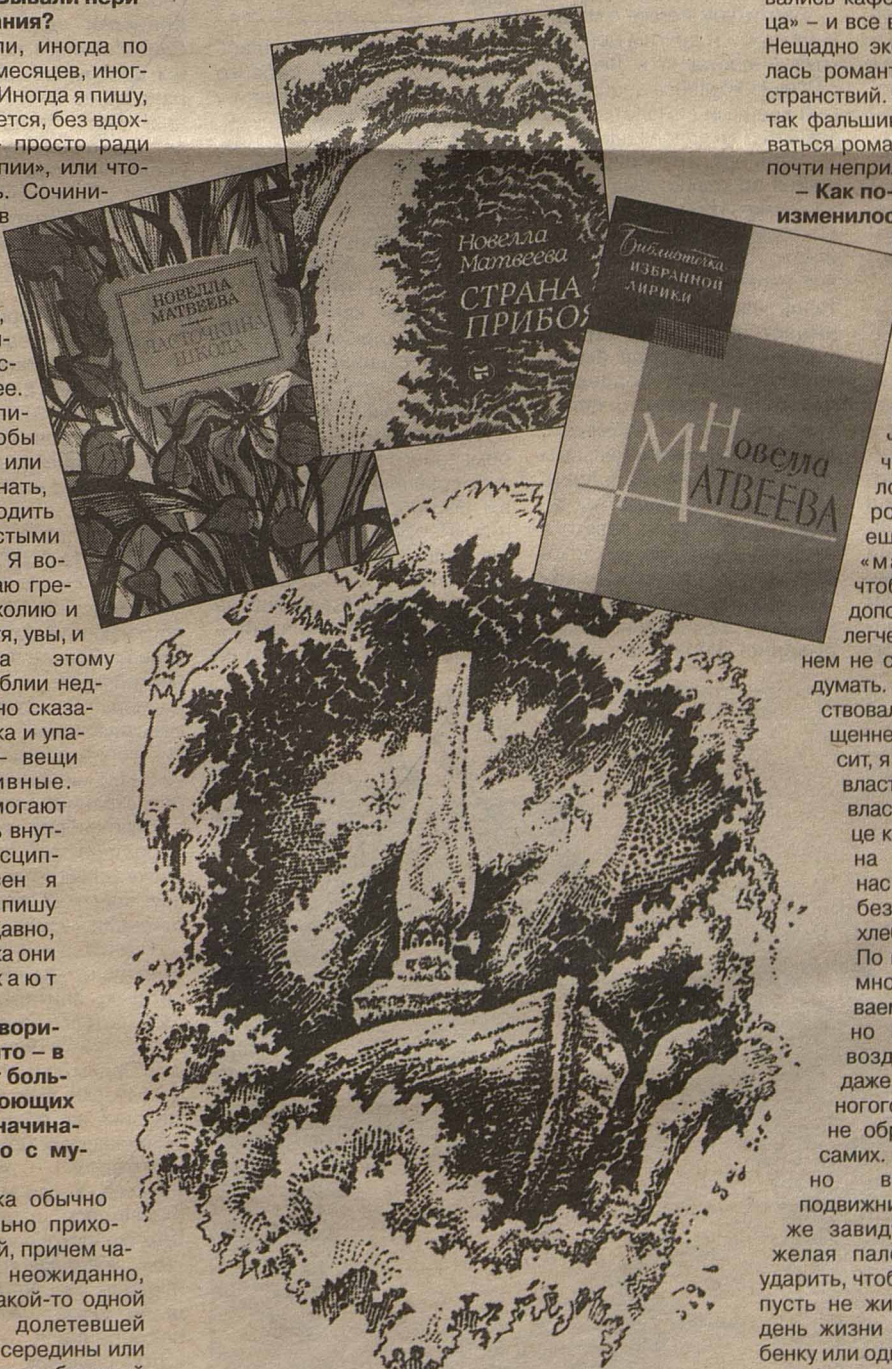


Иллюстрация к книге Новеллы Матвеевой «Страна прибой»

Художник Юрий Косачевский